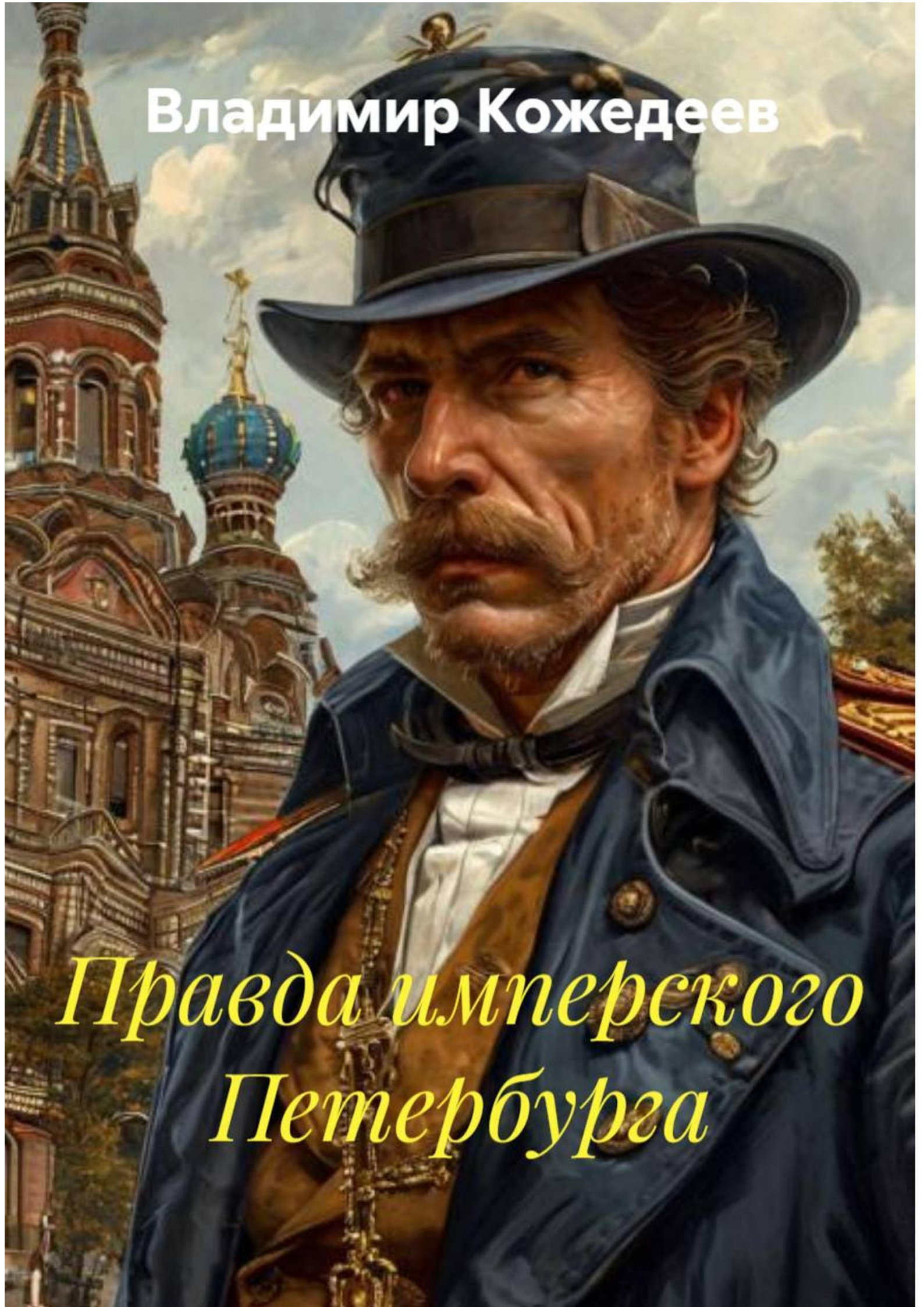


A detailed oil painting of a man, Vladimir Kozhedeev, in a blue military-style uniform with a matching hat. He has a thick, greyish-brown mustache and a serious expression. The background features the ornate architecture of St. Isaac's Cathedral in St. Petersburg, with its blue and gold domes and red brickwork. The sky is filled with soft, white clouds.

Владимир Кожедеев

*Правда имперского
Петербурга*

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

Правда имперского Петербурга

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Правда имперского Петербурга / В. Кожедеев — «Автор»,
2026 — (Исторические детективы)

Эти три детективные истории, действие которых разворачивается в России 1865-1871 годов. В центре сюжета — судьба поручика Алексея Ракитина, офицера, ставшего сыщиком, и его верного помощника Егора Николаева, прошедшего путь от беспризорника до жандарма. На фоне исторических реалий пореформенной России авторы разворачивают многослойное повествование, где каждая деталь имеет значение, а каждый герой — свою правду. Здесь есть место и карточным интригам, и шпионским заговорам, и дворцовым тайнам, и драме простых людей, которые пытаются выжить в городе, где солнце светит не для всех. Но главная тема историй — не преступления и расследования, а вечные вопросы: что такое честь и что такое предательство? Можно ли простить того, кто предал? И стоит ли правда тех жертв, которые приходится за нее приносить? Это история о России, которую мы не знаем. О людях, которых мы забыли. О времени, которое никогда не уходит, а только ждет своего часа.

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Дело о надтреснутом венце.	5
Глава 1.	5
Глава 2.	8
Глава 3.	18
Глава 4.	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Владимир Кожедеев

Правда имперского Петербурга

Часть 1. Дело о надтреснутом венце.

Глава 1.

Осень 1865 года выдалась в Петербурге на редкость гнилая. Уже в середине сентября Нева дышала промозглым туманом, который, подобно призраку, заползал в парадные подъезды на Английской набережной и не брезговал ютиться в подворотнях Коломны. Липкая морось, не то дождь, не то изморось, кропила городские мостовые с утра до вечера, превращая гранит и брусчатку в вечно скользкое зеркало, в котором дробился тусклый свет керосиновых фонарей.

В такой вот промозглый вечер, когда хотелось закутаться в шинель до самых бровей и бежать без оглядки к спасительному теплу, на Вознесенском проспекте, в доме купца Тарасова, происходило событие, которому суждено было нарушить монотонную жизнь столичной полиции.

В бельэтаже, в квартире отставного штабс-капитана Сергея Ильича Зимовьева, царило то особенное, тягучее оживление, какое бывает только на карточных вечерах. Из-за тяжелых портьер доносился звон шпор, сдержанный смех дам и тот неповторимый, сухой треск тасуемых колод, который для завсегдатаев звучит слаще любой симфонии.

В гостиной, отделанной под орех, за зеленым сукном стола сошлись четверо. Хозяин дома, Зимовьев, человек лет сорока с благообразной, но уже отмеченной печатью усталости внешностью, метал банк в штосс. Напротив него, нервно теребя бакенбарды, сидел князь Дмитрий Павлович Шуйский – молодой человек из тех, кого называют «золотая молодежь», промотавший уже половину состояния, но сохранивший аристократический лоск и дерзкий взгляд. Рядом с князем, широко расставив локти, помещался отставной ротмистр Воронцов, здоровяк с побагровевшим от выпитого лафита лицом. Четвертый же игрок держался особняком.

Это был господин средних лет, в безукоризненном фраке, с лицом, напоминающим восковую маску – бледным, неподвижным, с тонкими, плотно сжатыми губами. Звали его Адольф Иванович Фон-Лембке, и в столице он слыл человеком загадочным: служил по министерству иностранных дел, имел чин коллежского советника, но о роде его занятий ходили лишь смутные слухи. Говорили, что он близок к влиятельным лицам в Третьем отделении, но сам Фон-Лембке никогда этого не подтверждал. Он играл молча, хладнокровно и, кажется, выигрывал.

– Атанде-с! – звонко произнес Зимовьев, открывая карту. – Вам, князь, дама. Увы, не ваша.

Шуйский с досадой швырнул карту на стол. Перед ним лежала внушительная кучка ассигнаций и золотых империалов, и с каждой сдачей она таяла на глазах. Фон-Лембке, напротив, подвинул к себе очередной выигрыш, даже не взглянув на него.

– Что же это вы, Адольф Иванович, словно не играете, а приходно-расходную книгу ведете? – хохотнул Воронцов, наливая себе еще вина. – Ни эмоций, ни страсти! То ли дело мы, грешные: душа нараспашку!

– Душа нараспашку, ротмистр, ведет к тому, что карманы также оказываются нараспашку, – сухо ответил Фон-Лембке, и уголок его губ дрогнул в подобии улыбки. – Я предпочитаю точность.

В этот момент в прихожей послышался шум. Зимовьев нахмурился и, извинившись, вышел. Через минуту он вернулся в сопровождении невысокого, ладно сложенного человека в

мундире Семеновского полка. У вошедшего было открытое, даже несколько простоватое лицо, украшенное пшеничными усами, и живые, наблюдательные глаза.

– Господа, позвольте представить: мой старый товарищ, поручик Алексей Петрович Ракитин, – объявил Зимовьев. – Только что из Царского Села, проездом в столицу. Алексей, мы тут немного режемся в банчок. Не желаешь ли присоединиться?

Ракитин учтиво поклонился обществу, но его взгляд на мгновение задержался на Фон-Лембке дольше, чем на остальных. Что-то неуловимое в осанке и бесстрастном лице коллежского советника привлекло его внимание.

– Благодарствую, Сергей Ильич. С дороги я, лучше посижу в сторонке, посмотрю на вашу баталию, – ответил поручик, присаживаясь в кресло у камина.

Игра продолжилась. Ракитин, грея руки у огня, наблюдал. Он видел, как азарт искажает красивое лицо князя, как Воронцов, проиграв очередную ставку, со злостью сминает атласный рукав своего сюртука. Видел он и другое: полнейшее спокойствие Фон-Лембке, который, казалось, играл не с живыми людьми, а с механизмами, заранее просчитывая их ходы.

Внезапно Зимовьев, только что собиравшийся метать новую талию, побледнел, схватился за горло и, не издав ни звука, повалился грудью на стол. Карты, золото, подсвечники – все полетело на пол. В гостиной воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь шипением упавшей свечи.

Первым опомнился Ракитин. Он вскочил с кресла и бросился к другу. Зимовьев был мертв. Лицо его посинело, глаза закатились, а на губах выступила розоватая пена.

– Доктора! Ради бога, доктора! – закричал Воронцов, но все понимали, что это бесполезно.

Князь Шуйский стоял, вжавшись в спинку стула, и его била мелкая дрожь. Фон-Лембке же оставался неподвижен, лишь на его восковом лице обозначилась едва заметная складка меж бровей.

Ракитин осторожно, стараясь ничего не трогать, осмотрел тело. Рядом с рукой покойного на полу валялась опрокинутая рюмка, из которой Зимовьев за несколько минут до этого пригубил мадеру.

– Прошу никого не покидать комнату, – твердо произнес поручик, и в его голосе, вопреки его простоватой внешности, послышались стальные нотки. – Я сейчас же пошлю за полицией. И за доктором, чтобы установить причину смерти.

– Но... позвольте! – возмутился князь Шуйский, обретя дар речи. – Кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться? Мы все люди известные, почтенные...

– Я – друг покойного, князь, – перебил его Ракитин. – И офицер его величества. А вы, – он обвел взглядом присутствующих, – вы все сидели с ним за одним столом, когда он пил свое последнее в жизни вино.

Говоря это, он краем глаза следил за Фон-Лембке. Тот медленно достал из кармана жилета золотые часы-луковицу, щелкнул крышкой, взглянул на циферблат и так же неторопливо убрал их обратно. В этом жесте чувствовалось не волнение, а скорее скучающая констатация факта. Часы показывали половину двенадцатого ночи.

Ракитин вышел в прихожую, чтобы отдать распоряжения своему денщику. Когда он вернулся, в гостиной повисла тяжелая, звенящая тишина. Четверо мужчин и двое застывших в ужасе лакеев смотрели на тело человека, который всего пять минут назад был полон жизни, метал карты и смеялся. А за окнами, как ни в чем не, бывало, все так же сеял свою бесконечную морось промозглый петербургский дождь, смывая следы, которых еще никто не успел оставить.

Начало было положено. Смерть титулярного советника Зимовьева, нелепая и внезапная, стала для поручика Ракитина первым шагом в лабиринт, где наградой была лишь истина, а платой за ошибку могла стать собственная жизнь. И где фигура невозмутимого коллежского советника Фон-Лембке маячила темным, неразгаданным силуэтом.

Вот продолжение детективной истории.

Глава 2.

Полиция прибыла удивительно скоро. Околоточный надзиратель Канайкин, грузный мужчина с одышкой и скептическим выражением лица, осмотрел место происшествия с ленивой обстоятельностью человека, выдавшего виды. Доктор, молодой ординатор из Мариинской больницы, констатировал смерть от «апоплексического удара», однако отметил про себя странный запах, исходивший от рюмки покойного, – горький миндаль, едва уловимый, почти растворенный в букете мадеры.

– Отравление синильной кислотой, – тихо сказал он Ракитину, когда они отошли в сторону. – Или, что вероятнее, цианистым калием. Действует мгновенно. Но для протокола... – доктор замялся. – Для протокола это будет удар. Слишком много чести для купца Тарасова – расследовать отравление в его доме. Начальство не любит скандалов.

Ракитин понял. В империи, где любое происшествие могло стать предметом политического дознания, проще было списать смерть на несчастный случай или дурную кровь.

– А рюмка? – спросил поручик.

– Рюмку, разумеется, надлежит описать и опечатать, – наставительно произнес подошедший Канайкин. – А господам, – он кивнул на игроков, – надлежит дать подписку о невыезде. Формальность-с.

Князь Шуйский возмущенно фыркнул, Воронцов мрачно насупил, а Фон-Лембке впервые за весь вечер позволил себе улыбнуться – холодно и отстраненно.

– Разумеется, – произнес он. – Мы все заинтересованы в прояснении этого печального недоразумения.

Ракитина эта улыбка кольнула, как осиное жало.

Прошло три дня. Официальное следствие, как и предсказывал доктор, зашло в тупик. Рюмка, в которой обнаружили следы яда, была объявлена принадлежащей самому Зимовьеву, и версия самоубийства выглядела наиболее удобной для полиции. Мотивов, правда, не находили: Зимовьев, хоть и проигрывал в карты, не был разорен, имел небольшое, но верное состояние и, по словам знакомых, собирался жениться.

Ракитин не мог с этим смириться. Зимовьев был его однополчанином, они вместе служили на Кавказе, вместе ходили в штыковую на черкесские завалы. Такой человек не стал бы сводить счеты с жизнью за карточным столом, да еще и отравившись у всех на глазах, словно в дешевом мелодраматическом театре.

На третий день, заручившись поддержкой своего полкового командира, имевшего связи в Третьем отделении, Ракитин получил доступ к материалам дела. Бумаги были скудны, но одна деталь заставила его насторожиться. В описи имущества покойного значилась странная пропажа: серебряный портсигар с вензелем, подаренный Зимовьеву еще на Кавказе. Портсигар исчез. Лакеи клялись, что видели его на столике в гостиной перед началом игры. После смерти хозяина портсигара не нашли.

Кто мог его взять? И главное – зачем?

Ракитин начал свои расспросы. Первым он навестил князя Шуйского. Князь жил в наемных комнатах на Большой Морской, обставленных с крикливой роскошью, за которой угадывалась пустота. Принял он поручика настороженно, но, услышав, что разговор неофициальный, несколько расслабился.

– Портсигар? – переспросил Шуйский, нервно крутя в руках монокль. – Бог его знает. Может, Сергей Ильич сам куда заложил? Он хоть и не бедствовал, но в игре бывал азартен. Хотя... постойте. Я припоминаю. В тот вечер, перед самой смертью Зимовьева, я видел, как этот... как Фон-Лембке вертел в руках какую-то блестящую вещицу. Я тогда еще подумал: до чего же флегматичный человек – ему карты, выигрыш, а он игрушками балуется.

– Вы уверены? – Ракитин подался вперед.

– Не могу быть уверен, поручик. Сумерки, свечи... Но блесело что-то в его пальцах. А потом, когда Зимовьев упал, я, признаться, не до портсигаров был.

От Воронцова Ракитин не добился ничего, кроме пьяных слез и уверений в вечной дружбе. Оставался Фон-Лембке.

Коллежский советник принял поручика в своей казенной квартире в здании Министерства иностранных дел на Дворцовой площади. Кабинет поражал порядком: ни пылинки, книги на полках выстроены по росту и цвету корешков, на столе – стопа чистой бумаги и чернильница из темно-зеленого стекла.

– Чему обязан, поручик? – Фон-Лембке жестом указал на стул, но сам не сел, а остался стоять у высокого окна, за которым открывался вид на Александровскую колонну.

Ракитин говорил прямо, не юля. Он рассказал и о пропаже, и о показаниях Шуйского.

Фон-Лембке выслушал, не перебивая. Когда поручик закончил, немец несколько мгновений молчал, глядя куда-то вдаль, сквозь муть осеннего неба. Затем медленно подошел к столу, открыл верхний ящик и извлек оттуда серебряный портсигар с вензелем «С.З.».

– Вы об этом? – спросил он буднично.

Ракитин вскочил.

– Это вещественное доказательство! Как оно оказалось у вас? Вы признаете, что взяли его с места преступления?!

– Сядьте, поручик, – спокойно сказал Фон-Лембке. – Не шумите. Я взял этот портсигар, потому что знал: полиция его непременно опишет и положит в архив. А мне было необходимо изучить его лично. Видите ли, – он провел ногтем по гравировке, – мой дорогой покойный Сергей Ильич был не так прост, как казался. Он, помимо карт, занимался кое-какими поручениями. Конфиденциального свойства.

– Какими поручениями? – нахмурился Ракитин.

– Он помогал кое-кому из моих... скажем так, коллег по негласной части. Следил кое за кем, собирал слухи. Маленький человек с маленькими тайнами. И этот портсигар, – Фон-Лембке щелкнул крышкой, – служил ему не только для табака. В дне, видите ли, двойная стенка. Удобно для передачи микрофильмов или записок. Я подозреваю, что именно из-за содержимого этого портсигара его и убили.

Ракитин опешил. Все его подозрения, все логические построения рухнули в одну секунду. Фон-Лембке не скрывался, не заматал следы – он сам шел к истине, опережая следствие.

– И что же там было? В портсигаре?

– Пусто, – развел руками советник. – Кто-то опередил нас обоих. Тот, кто подсыпал яд в мадеру, успел вынуть содержимое тайника. А портсигар просто бросил на пол, надеясь, что его сочтут затерявшимся. Но я заметил. Я всегда все замечаю, поручик.

– Вы знаете, кто это сделал? – выдохнул Ракитин.

– Имею некоторые соображения, – кивнул Фон-Лембке. – Но это только соображения. Мне нужен помощник. Человек со стороны, не связанный ни с полицией, ни с моим ведомством. Честный офицер, которому можно доверять. Я наблюдал за вами в тот вечер, поручик. Вы не потеряли головы, не поддались панике. Вы мыслите. И, что немаловажно, вы друг Зимовьева, стало быть, у вас есть личный интерес.

Ракитин сидел, чувствуя, как в голове у него все перемешалось. Еще минуту назад он был готов обвинить этого человека в краже и соучастии в убийстве. Теперь же Фон-Лембке предлагал ему союз.

– Кого вы подозреваете? – спросил он, принимая решение.

– Пока не скажу, – качнул головой немец. – Иначе вы, со своим пылом, кинетесь к нему, и все испортите. Скажу лишь, что убийца – один из тех, кто сидел за столом. Вопрос в том, кто

именно. Князь, которому отчаянно нужны были деньги? Ротмистр, который проиграл казенные суммы и мог быть шантажируем? Или, – он сделал паузу, – кто-то из лакеев, кто мог быть подослан? Но лакеи не знали про портсигар. А вот игроки... они могли видеть, как Зимовьев доставал его, могли догадываться.

– А вы сами? – в упор спросил Ракитин. – Почему я должен верить вам?

Фон-Лембке впервые посмотрел на него прямо, и в этом взгляде мелькнуло что-то похожее на усталость.

– Потому что, поручик, я слишком стар и слишком умен, чтобы марать руки ядом в карточном доме. Если бы я хотел убить Зимовьева, он бы просто исчез. Бесследно. И никто бы никогда не узнал, где и когда. А здесь работа дилетанта. Дилетанта, который испугался и наследил. И которого я хочу найти. Поможете?

Ракитин молча кивнул. Он понимал, что вступает в игру, правила которой ему неведомы, а ставки смертельно высоки. Но отступать было не в его привычках.

Вот подробная предыстория Адольфа Ивановича Фон-Лембке – человека, чья жизнь оказалась сложнее и трагичнее, чем мог предположить поручик Ракитин.

Интерлюдия. Хроника одной души, или Исповедь коллежского советника.

Из личных записок А.И. Фон-Лембке, найденных после его смерти в опечатанном портфеле темно-зеленой шагрени

Детство, в котором не было места для смеха.

Я родился в 1823 году в Саратове, в доме на Никольской улице, который моя мать называла «нашим гнездом», а отец – «временным пристанищем». Дом был сложен из толстых бревен, пахнувших смолой и старостью, с резными наличниками, за которыми никто не ухаживал, отчего дерево гнило и крошилось.

Отец мой, Иоганн Фон-Лембке, происходил из обрусевших остзейских немцев. Дед его выменял дворянство за верную службу еще при Павле, но состояния не нажил – так, мелкопоместная знатность, что в России ценится меньше рубля медью. Отец служил инженером путей сообщения, строил мосты через Волгу и постоянно пропадал в командировках. Я видел его раз в полгода – высокого, сутулого человека с желтыми прокуренными усами и вечно озабоченным лицом. Он никогда меня не ласкал. Самое большое проявление нежности, которое я от него получил, было, когда он, проверяя мои тетради с немецкой грамматикой, молча погладил меня по голове сухой, шершавой ладонью. Я помню это прикосновение до сих пор.

Мать, Анна Григорьевна, урожденная княжна Мышецкая, была существом из другого мира. Южная кровь, тонкая красота, истеричность и полная неприиспособленность к жизни. Она вышла за немца назло своим родителям, которые прочили ей богатого помещика, и всю жизнь потом казнилась. Она любила меня исступленно и мучительно. Могла часами расчесывать мои волосы, напевая французские романсы, а через минуту вlepить пощечину за пролитый чай и рыдать, запираясь в спальне на сутки.

В пять лет я впервые осознал, что мир несправедлив. Я играл во дворе с детьми соседей – сыном сапожника и дочерью дьякона. Мы строили крепость из снега. Вдруг прибежала мать, схватила меня за руку и потащила домой, крича на весь двор: «Как ты смеешь пачкаться с этим отребьем! Ты дворянин, ты фон, ты лучше их всех! Запомни это!». Я запомнил. Я смотрел из окна, как дети продолжают играть, и чувствовал внутри себя что-то холодное и пустое. Я был отделен от них невидимой стеной, которую возвела мать. И которая будет стоять всегда.

В семь лет меня отдали в частный пансион немца Карла Ивановича Штрубе. Там царил порядок: железный, неумолимый, правильный. Подъем в шесть, молитва на немецком, холодные обтирания, латынь, математика, чистописание. Карл Иванович бил линейкой по пальцам за любую ошибку, но делал это без злобы, с методичностью автомата. Я полюбил этот порядок. В нем не было материнских истерик, отцовского равнодушия, сословных предрассудков. Были правила. А правила можно выучить, и тогда ты защищен.

Я учился жадно. Математика открыла мне красоту абсолютной логики, где дважды два всегда четыре, где нет места капризам и чувствам. Латынь и греческий – архитектуру языка, где каждое слово стоит на своем месте. Я был первым учеником, но меня не любили. Слишком замкнут, слишком холоден, слишком умен. Мальчики чувствуют того, кто не с ними. Я и не хотел быть с ними. У меня были книги.

Отрочество, в котором появилась цель.

В 1836 году, когда мне исполнилось тринадцать, умер отец. Он упал с лесов строящегося моста где-то под Симбирском. Тело привезли в цинковом гробу. Мать рыдала три дня, а потом уехала в Москву к своей тетке, оставив меня на попечение дальнего родственника. Я остался один. Впрочем, я всегда был один.

Родственник, коллежский асессор в отставке, был игрок и пьяница. Ему не было до меня дела. Я жил в его доме как мебель – сытно, тепло и абсолютно безразлично. Именно тогда я начал ходить в театр. Нет, не в оперу или балет, куда таскали детей из приличных семей. Я ходил в маленький театрик на окраине, где давали мелодрамы и водевили для простого люда. Меня завораживало одно: как люди на сцене притворяются. Как они надевают маски и заставляют зрителей верить. Я понял, что вся жизнь – это театр. И что самый сильный тот, кто умеет носить лучшую маску.

В пятнадцать лет случилось то, что определило всё. Я нашел в отцовском бюро, которое никто не открывал после его смерти, связку писем. Они были на французском, адресованные отцу, без подписи. Из писем следовало, что отец выполнял какие-то деликатные поручения – следил за подрядчиками, доносил начальству о хищениях, собирал сведения о настроениях среди рабочих. Он был тайным осведомителем. Маленьким, незаметным винтиком в огромной машине, которую тогда называли «охранкой», а теперь именуют Третьим отделением.

Я не испытал ни отвращения, ни гордости. Я испытал восхищение системой. Кто-то сидел в кабинете и получал донесения от таких, как мой отец, и на основе этих донесений принимал решения, меняющие судьбы людей. Вот это была власть. Не та, что у губернаторов с их эпопеями, а настоящая, тихая, незримая власть знания.

Я решил, что буду служить этой системе.

Юность, в которой я встретил Её.

В 1841 году, восемнадцати лет, я приехал в Петербург поступать на юридический факультет университета. Денег у меня было в обрез, связей никаких. Я снял крошечную комнату на Петроградской стороне, у вдовы чиновника, и погрузился в учебу. Днем – лекции, ночью – репетиторство с купеческими сыновьями, чтобы заработать на жизнь.

Тогда я и познакомился с Григорием. Григорий Александрович Потанин был моим полным антиподом – шумный, веселый, богатый, из старинной, хоть и обедневшей дворянской семьи. Мы столкнулись в университетской библиотеке: я нес стопку книг по римскому праву, он, зазевавшись, сбил меня с ног, и фолианты разлетелись по полу. Вместо того чтобы извиниться и уйти, он бросился их собирать и тут же, глядя на корешки, воскликнул: «Боже, вы читаете это добровольно?! Да вы герой! Надо немедленно это отметить!».

Так Григорий ворвался в мою жизнь. Он был единственным человеком, которому удалось пробить броню моего одиночества. Ему было наплевать на мою холодность, на мою бедность, на мое немецкое происхождение. Он тащил меня в трактиры, в гости, на студенческие пирушки. Я отказывался, но он не сдавался. «Адольф, ты как сыч сидишь в своей норе! Выходи к людям, дыши!».

С ним я впервые узнал, что такое дружба. Не приятельство, не сословное обязательство, а настоящая, бескорыстная близость. Я мог молчать с ним часами, и это молчание не было тягостным. Я мог сказать ему что-то сокровенное, и он не смеялся. Он понимал.

Через него я встретил Елизавету.

Она приходилась Григорию кузиной. Лето 1843 года мы втроем провели в его имении под Псковом. Я впервые видел настоящую русскую усадьбу: запущенный парк, пруд с карасями, дом с колоннами, где вечно сквозило из окон. Елизавета Андреевна Вельяминова была девушкой необыкновенной. Не красавица в общепринятом смысле – слишком бледна, слишком серьезна. Но в ней была глубина, которая манила меня, как омут.

Она тоже любила книги, тоже была одинока в своей семье, тоже чувствовала себя чужой среди шумных гостей. Мы гуляли по аллеям парка, и она читала мне вслух стихи Баратынского. Я слушал и смотрел, как солнечные пятна пляшут на ее платье. Впервые в жизни я чувствовал, что сердце мое тает. Что та холодная пустота, поселившаяся во мне в детстве, начинает заполняться светом.

К концу лета я понял, что люблю её. Люблю так, как не считал себя способным. Я готов был бросить всё: карьеру, Петербург, свои честолюбивые планы – только бы быть с ней. Я сделал предложение. Она покраснела, опустила глаза и прошептала: «Да».

Григорий был счастлив за нас. Он обнял меня и сказал: «Ну вот, брат, я и нашел тебе родственную душу! Живите долго и счастливо». Мы обручились. Свадьба должна была состояться через год, когда я закончу университет и найду место.

Осенью я уехал в Петербург, полный надежд и планов. Мы переписывались. Ее письма были для меня светом в окне, глотком воздуха. Я хранил их под подушкой и перечитывал по ночам.

А зимой пришло письмо от Григория. Короткое, сбивчивое.

«Адольф, прости. Лиза выходит замуж. За князя Шуйского. Родители настояли. Деньги, положение, всё такое. Она плакала, но отказать не посмела. Я пытался, но ты знаешь наши порядки. Прости, брат. Если можешь – забудь».

Я не помню, что было потом. Кажется, я сидел на кровати в своей каморке и смотрел в стену. Часы шли, наступила ночь, потом утро, а я всё сидел. Внутри меня что-то умерло. Не разбилось – именно умерло. Та пустота, которую Лиза заполнила своим светом, вернулась, но стала теперь не просто пустотой – ледяной пустыней.

Я не винил её. Я винил порядок вещей, при котором любовь ничего не значит перед деньгами и титулами. И я дал себе клятву: я стану тем, кто сможет влиять на этот порядок. Я стану сильным. Настолько сильным, чтобы никто и никогда не посмел отнять у меня то, что принадлежит мне по праву.

Я не поехал на свадьбу. Я похоронил Лизу в своем сердце и больше никогда не произносил ее имени вслух. Но тайком, по ночам, я иногда доставал её письма и перечитывал, пока бумага не истерлась на сгибах и не рассыпалась в прах.

Зрелость, в которой я стал тем, кто я есть.

В 1844 году я окончил университет и по протекции одного из профессоров, которому помог с переводом немецких юридических трактатов, попал в канцелярию Военного министерства. Работа была скучная, бумажная, но я быстро понял её механику. Главное в бюрократии – не усердие, а умение быть полезным. Я стал полезным.

В 1848 году, когда Европу трясло от революций, а Россию от страха перед ними, меня заметили. Мой умение собирать и систематизировать информацию, моя хладнокровная манера докладывать самые неприятные факты без тени эмоций пригодились. Меня пригласили на беседу к графу Орлову, шефу жандармов. Разговор был коротким:

– Вы немец, фон-Лембке?

– Да, ваше сиятельство.

– Немцы – народ аккуратный. Аккуратность нам сейчас нужна. Пойдете к нам?

– Сочту за честь.

Так я оказался в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Моя карьера пошла в гору. Я не ловил шпионов и не отслеживал революционеров

на баррикадах. Я был аналитиком. Я читал донесения агентов, сводил воедино разрозненные факты, писал обзоры для самых верхов. Я знал всё: кто кому должен, кто на ком женат, кто против кого интригует. Я стал живым архивом тайн империи.

В 1853 году я женился. Да, женился. На дочери умершего сослуживца, тихой, неприметной девушке, которая родила мне двоих детей и умерла от родильной горячки через год после рождения второго. Я не любил её. Я был благодарен ей за детей и за тишину, которую она создавала в доме. Когда её не стало, я почти ничего не почувствовал. Пустыня внутри меня поглотила и эту потерю.

Детей я отдал на воспитание сестре жены в Ревель. Я не мог растить их сам. Я боялся, что моя холодность, моя внутренняя мертвенность передастся им, испортит их. Пусть растут далеко от меня, на свежем воздухе, среди нормальных людей. Я исправно плачу за их содержание и пишу письма раз в месяц. Формальные, правильные письма. Как уроки чистописания.

Настоящее, в котором случился Зимовьев.

Годы шли. Я достиг всего, чего хотел. У меня был чин, положение, деньги. Меня боялись и уважали. Я сидел в своем кабинете, смотрел на Александровскую колонну и чувствовал... ничего.

Я давно простил Лизу. Я давно не вспоминал Григория, который спился и умер несколько лет назад. Я вообще редко вспоминал прошлое. Прошлого нет. Есть только настоящее и будущее, которое можно просчитать.

И вдруг этот вечер у Зимовьева. Этот странный поручик Ракитин с его честными глазами. И этот идиот-князь Шуйский, который трясся за карточным столом, проигрывая последние гроши.

Шуйский. Князь Дмитрий Павлович Шуйский.

Сын того самого князя, на котором родители Лизы заставили её жениться. Сын человека, который разрушил мою жизнь.

Я смотрел на него за карточным столом и видел не игрока, а порождение той самой системы, которую я поклялся переиграть. Молодой, пустой, ничтожный, прожигающий состояние, которое досталось ему ценой моего счастья. И я почувствовал не ненависть. Нет. Я почувствовал интерес.

Ведь именно князь Шуйский, по моим сведениям, был должен Зимовьеву огромную сумму. Именно князь Шуйский отчаянно нуждался в деньгах. И именно князь Шуйский сидел ближе всех к рюмке с мадерой.

Но была одна деталь, которую я не сказал Ракитину. Портсигар Зимовьева был пуст не потому, что убийца успел вынуть содержимое. Внутри, в тайнике, лежала микроскопическая записка. Всего одно имя, написанное химическим карандашом.

Имя было – Елизавета.

Она жива. Она вдова. Она в Петербурге.

И кто-то убил Зимовьева, чтобы эта записка не попала ни в чьи руки. Чтобы никто не узнал, что маленький осведомитель Зимовьев напал на след тайны, которую я похоронил двадцать лет назад.

Ракитин думает, что мы ищем убийцу. Он не знает, что мы ищем Её.

А может быть, именно в этом и есть моя истинная цель. Не в правосудии. Не в карьере. А в том, чтобы на закате жизни, пройдя через пустыню одиночества, увидеть ту, кого я потерял, и спросить:

– Ты была счастлива? Стоило ли оно того?

Я не знаю, что она ответит. Но я должен это узнать.

Потому что даже у людей с ледяным сердцем бывают свои призраки. Елизавета – мой призрак.

Из записей А.И. Фон-Лембке. Октябрь 1865 года.

Вот подробная история жизни поручика Алексея Петровича Ракитина – человека чести, чья судьба оказалась неразрывно связана с судьбой загадочного коллежского советника.

Интерлюдия вторая. Исповедь поручика, или Русское сердце на службе империи.

Из дневниковых записей А.П. Ракитина, найденных в его походном сундуке после ранения под Плевной в 1877 году.

Детство, в котором было солнце.

Я родился 15 июля 1838 года в имении отца, сельце Отрадном, Саратовской губернии. Места там степные, привольные, с бескрайним небом и ковылем, что волнами ходит от ветра, точно море. Я любил это небо. Люблю до сих пор, хотя редко вижу его над петербургскими крышами.

Отец мой, Пётр Ильич Ракитин, происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода. В молодости служил в гусарском полку, дослужился до майора, вышел в отставку по ранению – на Кавказе шашка горца распорола ему плечо, рука с тех пор плохо слушалась. Вернулся в имение, женился на моей матери и посвятил себя хозяйству. Хозяйство, надо признать, шло плохо. Отец был храбрым офицером, но никудышным помещиком. Крестьяне его любили за доброту, но пользовались этой добротой без зазрения совести. Земля давала мало, доходы таяли, и с каждым годом мы всё глубже увязали в долгах.

Мать, Наталья Кирилловна, урождённая Верейская, была женщиной тихой, богобоязненной и необыкновенно нежной. Она происходила из семьи разорившихся смоленских дворян и в приданое принесла отцу только свою красоту да доброе сердце. Я обожал её. Помню её руки – всегда в муке, потому что она сама пекла хлеб, не доверяя кухарке, вечно тонкие пальцы в ссадинах от садовых роз, которые она обожала. Она учила меня читать по Псалтири и по русским сказкам, которые рассказывала на ночь шепотом, чтобы отец не слышал – он считал сказки баловством.

– Лёшенька, – говорила она, глядя меня по голове, – запомни: главное в человеке – душа. Чин, деньги, награды – всё прах. А душа – она вечная. Береги её.

Я не понимал тогда, что значит «беречь душу». Понимаю теперь.

У меня были сёстры – две старшие, Варвара и Ольга, и младшенькая, Катенька, что умерла от скарлатины, когда мне исполнилось семь. Помню её гробик, обитый розовым атласом, и мать, стоящую на коленях перед образами три дня без еды и воды. После смерти Катеньки мать словно потухла. Она по-прежнему была добра ко мне, но глаза её стали пустыми, и смех её я больше никогда не слышал.

Отец в горе ушёл в работу, точнее, в видимость работы – пропадал в полях с утра до ночи, но дела от этого не шли лучше. Он стал чаще выпивать, хотя раньше позволял себе рюмку только по праздникам. Помню, как однажды ночью я проснулся от шума и увидел отца, сидящего за столом при одной свече. Перед ним лежали какие-то бумаги, а он плакал. Тихо, беззвучно, размазывая слёзы по лицу кулаком. Я никогда не видел, чтобы мужчина плакал. Я испугался и зажмурился, притворяясь спящим. Утром отец был как всегда: подтянут, строг, ласков. Но я запомнил ту ночь навсегда.

В 1847 году, когда мне пошёл десятый год, отец решил, что мне пора получать настоящее образование. В Отрадном была только начальная школа при церкви, где дьячок учил крестьянских детей грамоте. Отец хотел для меня большего. Он продал часть леса и отвёз меня в Саратов, в губернскую гимназию.

Прощание с матерью было мучительным. Она обнимала меня так, словно провожала на войну, крестила, шептала молитвы и всё повторяла: «Береги себя, Лёшенька, пиши, не забывай нас». Я обещал писать каждую неделю. И писал. Все восемь лет учёбы – каждую неделю письма домой. Матери. А после её смерти – отцу.

Гимназия, в которой я узнал цену дружбе.

Саратовская гимназия была казённым домом с облупленными стенами, холодными классами и розгами в наказательном чулане. Я попал туда осенью 1847 года и первое время чувствовал себя так, словно меня бросили в ледяную прорубь.

Учителя были разные. Одни – замученные жизнью педанты, другие – пьяницы, третьи – искренние энтузиасты своего дела. Но был один, которого я запомнил на всю жизнь. Иван Матвеевич Сокольский, учитель словесности. Не старый ещё человек, с умными, грустными глазами и вечно растрёпанными волосами. Он не просто учил нас русской литературе – он открывал нам мир. Помню его уроки, когда он читал вслух «Тараса Бульбу» или «Капитанскую дочку», и голос его дрожал, а в классе стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивает свеча.

– Ракитин, – сказал он мне однажды, оставив после урока, – у вас есть чутьё к слову. И к правде. Не зарывайте этот талант. В жизни пригодится.

Я не понимал тогда, что он имеет в виду. Понимаю теперь.

В гимназии я нашёл и первую настоящую дружбу. Коля Столыпин – мы сидели с ним за одной партой три года, пока его не перевели в Петербург. Шустрый, веснушчатый, с вечно разбитыми коленками и неистощимым запасом проказ. Мы лазали в городской сад за яблоками, дрались с гимназистами старших классов, вместе готовили уроки, вместе мечтали. Коля хотел стать моряком, бороздить моря и океаны, открывать новые земли. Я хотел быть военным, как отец, защищать Россию.

Коля уехал в 1850-м. Мы переписывались года два, потом письма стали реже, потом прекратились вовсе. Говорят, он погиб в Севастополе, на Малаховом кургане, в чине мичмана. Я не знаю точно, но иногда думаю о нём. О нашей дружбе. О том, как быстро всё проходит.

В 1853 году, за год до окончания гимназии, умерла мать. Письмо от отца пришло через две недели – она уже была похоронена. Отец писал коротко и сухо, но между строк я читал его отчаяние. «Лёша, матушка наша преставилась тихо, во сне. Господь прибрал. Ты держись. Я держусь».

Я не плакал тогда. Слезы пришли позже, ночью, когда я лежал в дортуаре и смотрел в потолок, слушая храп товарищей. Я вспоминал её руки, её голос, её сказки. И я поклялся себе, что буду жить так, чтобы она могла мной гордиться. Где бы она ни была.

Юнкерское училище, в котором я стал мужчиной.

В 1854 году, после окончания гимназии с отличием, я поехал в Петербург поступать в Дворянский полк – так тогда называлось Константиновское военное училище. Отец благословил меня и дал последние деньги, какие у него были. Провожал меня староста Степан, которого отец отпустил на оброк в город – всё равно в имении делать было нечего.

В училище я попал в самое пекло. Крымская война уже шла, Севастополь держался, и в воздухе пахло порохом. Мы учились лихорадочно, понимая, что многих из нас отправят прямо на фронт, едва мы получим погоны.

Муштра была жесточайшая. Подъём в шесть, холодные обтирания, строевая подготовка до седьмого пота, фехтование, верховая езда, тактика, фортификация. Офицеры-воспитатели были людьми суровыми, но справедливыми. Особенно запомнился полковник фон дер Лауниц – немец с ледяными глазами и железной выправкой. Его боялись, но уважали. Он не кричал, не срывался, никогда не унижал юнкеров. Он просто требовал, чтобы мы были лучшими. И мы старались.

– Запомните, господа, – говорил он на первой лекции, – офицер – это не просто чин. Это состояние души. Офицер не имеет права на трусость, на ложь, на подлость. Потому что за ним – Россия. И если вы не готовы умереть за Россию в любую минуту, убирайтесь сейчас. Здесь не место для игры в солдатики.

Я запомнил эти слова на всю жизнь.

В училище я встретил Сергея Зимовьева. Он был на курс старше, и мы познакомились случайно – в лазарете, куда я попал с вывихнутой ногой после неудачного падения с лошади. Сергей лежал с воспалением лёгких, кашлял, но всё равно пытался шутить и подбадривать соседей. Высокий, светловолосый, с открытым русским лицом и ясными голубыми глазами. Он сразу располагал к себе.

– Ты чего скучный такой? – спросил он меня. – Нога болит?

– Болит, – признался я.

– Ерунда. У меня вон лёгкие горят, как в аду, а я ничего, креплюсь. Главное – не раскидать. Хочешь, расскажу анекдот про поручика Ржевского?

Мы проговорили весь вечер. А потом и всю ночь. Оказалось, что мы земляки – Сергей тоже был из Саратовской губернии, из бедных дворян. Его отец служил становым приставом, умер от холеры, мать воспитывала его одна. Он пошёл в армию, потому что больше некуда было идти.

Сергей стал моим самым близким другом на долгие годы. Мы вместе мечтали, вместе гадали о будущем, вместе боялись, что война кончится без нас и мы не успеем отличиться. Насчёт последнего мы ошиблись.

В 1855 году, после выпуска, я был произведён в прапорщики и направлен на Кавказ, где ещё тлели очаги сопротивления горцев. Сергей попал в действующую армию в Крым, но опоздал – Севастополь уже пал, война заканчивалась. Мы расстались, пообещав друг другу писать и обязательно встретиться после службы.

Кавказ, где я увидел смерть и познал цену жизни.

Кавказ 1855-1859 годов – это была совсем другая война. Не та, что в учебниках тактики, и не та, что в романах. Это была война без линии фронта, война в ущельях и лесах, война, где враг мог появиться из-за любого камня и так же бесследно исчезнуть.

Я служил в Куринском пехотном полку, прославленном ещё со времён Ермолова. Мы стояли в укреплении под названием Воздвиженское, в Чечне. Командовал нами полковник Барятинский – молодой, энергичный, жестокий и талантливый. Он требовал от нас невозможного и получал это.

Первое моё дело было в ущелье реки Аргун. Мы шли на выручку окружённому отряду, и горцы встретили нас залпами из-за камней. Я помню свист пуль, крики «алла» и ужасный, липкий страх, который сковывал ноги. Рядом со мной упал солдат – молодой парень из тамбовских крестьян, с весёлыми глазами и гармошкой в ранце. Пуля попала ему прямо в лоб. Я смотрел на его лицо, ещё не успевшее остыть, и чувствовал, как во мне что-то переворачивается.

А потом кончился страх. Совсем. Я встал, закричал «ура» и побежал вперёд, стреляя на ходу и не думая ни о чём. Потом были штыковая, рукопашная, кровь на руках, которую не отмыть. Мы прорвались. Отряд спасли.

За то дело я получил свой первый орден – Анну 4-й степени с надписью «За храбрость». И с тех пор я перестал бояться. Не потому, что стал храбрее. А потому, что понял: смерть придёт, когда ей суждено, и никакой страх этого не изменит. Есть только долг. И товарищи, которые рядом.

На Кавказе я узнал, что такое настоящая мужская дружба. Дружба, когда спиной к спине, когда последний сухарь пополам, когда прикрываешь раненого под пулями, потому что иначе нельзя. Мы были молоды, горячи, верили в Бога, царя и Отечество. Мы не думали о политике, о реформах, об отмене крепостного права, которая уже витала в воздухе. Мы думали о том, как выжить сегодня и как завтра снова пойти в бой.

Я потерял там многих. Взводного командира, поручика Гурова, который учил меня уму-разуму. Солдата Егора Кузьмича, старого служаку, который на привалах рассказывал сказки про домового. Молоденького подпрапорщика Васю Долгорукого, который только приехал из

корпуса и погиб в первом же бою – пуля навывлет в горло. Я помню их всех. Их лица, их голоса. Они со мной до сих пор.

В 1859 году Шамиль сдался, и Кавказская война, длившаяся полвека, закончилась. Наш полк перебросили на Кубань, потом в Ставрополь. Служба стала скучной, гарнизонной, полной шагистики и смотров. Я тосковал по настоящему делу. И тут пришло письмо от Сергея Зимовьева.

Петербург, куда привела судьба.

Сергей писал, что вышел в отставку, живёт в Петербурге, служит по гражданской части, скучает и зовёт в гости. «Приезжай, Лёша, – писал он. – В столице весело. Девушки, театры, карты. Да и просто повидаться надо. Сколько лет прошло!».

Я выпросил отпуск и поехал. Это был 1865 год.

Петербург оглушил меня. После кавказской глуши, после лагерной жизни, столица казалась Вавилоном – шумная, пёстрая, суматошная. Блестящие экипажи, чиновники в мундирах, дамы в кринолинах, газетчики, разносчики, нищие, офицеры. Я ходил по Невскому и чувствовал себя дикарём, попавшим в чужой мир.

Сергей встретил меня радушно. Он снял хорошую квартиру на Вознесенском, одевался по моде, говорил о каких-то своих делах таинственно и неопределённо. Я заметил в нём перемену. Прежний открытый, простодушный Сергей куда-то исчез. Появился человек, который чего-то боялся, кому-то был должен, что-то скрывал. Но я не придавал этому значения – мало ли какие у гражданских заботы. Мы пили, вспоминали молодость, смеялись.

В тот вечер, 20 сентября, Сергей пригласил меня на карточную партию. «Приходи, – сказал он. – Будут интересные люди. Один даже из Третьего отделения. Познакомишься». Я не хотел идти – устал с дороги, но Сергей настоял.

Я пошёл. И всё изменилось.

Я увидел смерть друга. Я увидел Фон-Лембке – человека с лицом восковой маски и глазами, в которых застыла вечная зима. Я почувствовал, что это только начало. Что кавказские бои были цветочками по сравнению с тем, что ждёт меня здесь, в промозглом, туманном Петербурге.

Но я остался. Потому что друг мёртв. Потому что правда должна восторжествовать. Потому что мать учила меня беречь душу, а душа не позволяет пройти мимо чужой беды.

Я не знал тогда, что в этом деле мне предстоит встретить не только убийцу, но и прошлое. Своё прошлое. И прошлое человека, который называет себя моим союзником.

Но это уже другая история.

Из записей А.П. Ракитина. Октябрь 1865 года.

Послесловие.

Две судьбы – немецкая и русская – столкнулись в промозглом Петербурге 1865 года. У одного за плечами ледяная пустыня одиночества, у другого – кавказский жар и вера в товарищество. Один потерял любовь и нашёл власть, другой не терял ничего, кроме друзей на поле боя. Что будет, когда их пути окончательно сойдутся? Когда тайна убийства Зимовьева приведёт их к Елизавете? К женщине, которую Фон-Лембке не забыл за двадцать лет, а Ракитин... А Ракитин никогда не знал?

Глава 3.

Кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря встретило Ракитина мокрой тишиной. Октябрьский ветер гнал низкие тучи над мраморными надгробиями, срывал с берез последние желтые листья и бросал их под ноги редким прохожим. Где-то далеко каркали вороны – зловеще, тоскливо, будто считали минуты до чьей-то смерти.

Похороны Сергея Ильича Зимовьева были скромными до неприличия. Полиция, закончив свое вялое следствие, разрешила предать тело земле, и Ракитин взял все хлопоты на себя. Родственников у Сергея не осталось – мать умерла давно, отец еще раньше, дальняя тетка из Калуги прислала письмо с соболезнованиями и просьбой «простить за невозможность прибыть по болезни и безденежью». Друзья... Где они были, эти друзья, когда гроб опускали в сырую яму?

Гроб был простой, дубовый, без излишеств – Ракитин отдал за него почти все деньги, что были при себе. Он сам выбрал место на краю кладбища, под старой раскидистой липой. Не среди генералов и купцов первой гильдии, а там, где тихо и никто не помешает. Сергей всегда любил тишину.

У края могилы стояли несколько человек. Отец Алексей, молодой священник с рыжеватой бородкой, торопливо дочитывал отходную, зябко кутаясь в ризу – ветер продувал насквозь. Дьячок, древний старик с трясущейся головой, изредка подпевал дребезжащим голосом. Два могильщика в промасленных армяках терпеливо ждали, когда кончится служба, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на тучи – быть дождю.

Из приглашенных не пришел никто.

Ракитин стоял у изголовья, прямой, как на смотру, не чувствуя холода. Шинель нараспашку, фуражка в руке. Ветер трепал его светлые волосы, бросал в лицо мокрые листья, но он не замечал. Он смотрел на гроб, на крышку, на которой лежал венок из еловых веток – единственный, который он смог купить у старухи у ворот. И думал о том, как быстро жизнь оборачивается смертью.

– Помяни, Господи, во Царствии Твоем... – доносились слова молитвы, и Ракитин машинально крестился, но мысли его были далеко.

Он вспоминал Кавказ. Жаркое солнце, пыль на зубах, треск цикад по ночам. Они с Сергеем сидят у костра, пьют чай из жестяных кружек и мечтают о том, как кончится война, как они приедут в Петербург, как заживут – весело, шумно, полной жизнью. Сергей тогда смеялся: «Вот увидишь, Леша, мы еще прославимся! Или женимся на богатых невестах, или в генералы выйдем. А лучше и то, и другое!». И глаза его блестели в отсветах пламени, молодые, дерзкие, бесстрашные.

Где теперь те глаза? Защиты навеки. Где тот смех? Умолк.

– ...со святыми упокой, – закончил священник и перекрестил гроб. – Мир праху твоему, раб Божий Сергей. Вечная память.

– Вечная память, – эхом отозвался дьячок.

Священник подошел к Ракитину, участливо заглянул в лицо.

– Друг покойного, батюшка сказывали? – тихо спросил он.

– Друг, – ответил Ракитин, не отводя взгляда от могилы.

– Царствие Небесное. Хороший был человек? Вы простите, не знал я его.

– Хороший, – глухо сказал Ракитин. – Честный. Смелый.

– Что ж так... одиноко хоронят-то? – священник оглянулся на пустые дорожки кладбища.

– Родных нет?

– Нет. Я теперь за родных.

Священник вздохнул, хотел что-то добавить, но махнул рукой и отошел. Дьячок уже семенил к воротам, пряча кадило под рясу. Могильщики вопросительно смотрели на Ракитина.

– Можно, – кивнул поручик.

Веревки заскрипели, гроб медленно поплыл вниз, в темноту. Комья сырой глины глухо застучали по крышке. С каждым ударом Ракитин чувствовал, как что-то обрывается у него внутри. Вот сейчас, сейчас закроют навсегда. И ничего уже не изменить. Не поговорить. Не обнять.

Он шагнул вперед, к самому краю, и могильщики остановились, переглянувшись.

– Оставьте нас, – сказал Ракитин негромко, но таким тоном, что спорить не захотелось. – На минуту.

Мужики попятились, сняли шапки и отошли к липе, закуривая сигарки и прячась от ветра.

Ракитин остался один на один с полусасыпанной могилой. Ветер стих на мгновение, и в этой внезапной тишине он услышал собственное сердце – гулко, тяжело, словно молот по наковальне.

Он опустился на колени прямо в грязь, не замечая, как холодная вода просачивается сквозь сукно шинели. Положил руку на влажную землю, на то место, где только что скрылась крышка гроба.

– Сережа, – сказал он вслух. Голос сорвался. – Прости меня.

Он помолчал, собираясь с мыслями. В голове было пусто и оглушительно больно.

– Я тогда, в тот вечер... Опоздал. На час всего опоздал. Если бы я приехал утром, если бы не задержался в Царском... Может, иначе бы все обернулось. Может, я бы заметил. Может, успел бы. Прости.

Комок подкатил к горлу, но Ракитин сглотнул его. Офицер не имеет права плакать. Даже здесь. Даже сейчас.

– Ты меня не зови, слышишь? – продолжал он, глядя на свежий холмик земли, который уже начали крошить первые капли дождя. – Я еще не скоро. Мне дело сделать надо.

Он выпрямился, встал на коленях, глядя прямо перед собой, туда, где под землей лежал его друг.

– Клянусь тебе, Сережа. Клянусь матерью своей покойной. Клянусь честью офицера и дворянина. Клянусь Богом, в которого мы оба верили, когда под пулями стояли. Я найду того, кто это сделал.

Голос его креп, наливался силой, хотя говорил он все так же тихо.

– Я найду убийцу. Не важно, кто он – князь, нищий, вельможа или последний холуй. Не важно, сколько времени уйдет. Не важно, чего мне это будет стоить. Он ответит.

Дождь усилился. Крупные капли застучали по фуражке, лежащей рядом, по плечам шинели, по свежей могиле, размывая глину в бурю кашу.

– Он заплатит, Сережа. Не по закону человеческого – по закону совести. Я не успокоюсь, пока не увижу его лицо, когда он поймет, что все кончено. Пока не услышу, зачем он это сделал. И тогда... – Ракитин сжал кулаки так, что побелели костяшки. – Тогда я сам решу, как с ним поступить. Бог мне судья, но я буду его палачом, если потребуется.

Он помолчал, собираясь с духом для последних слов.

– Прощай, брат. Спи спокойно. Я за себя не ручаюсь, а за тебя – ручаюсь. Правда будет. Отомщено будет. Обещаю.

Ракитин наклонился, коснулся губами мокрой земли, встал и перекрестился широким, размашистым крестом. Потом поднял фуражку, нахлобучил на голову и зашагал прочь, не оглядываясь.

Могильщики, видя, что барин уходит, вернулись к работе. Лопаты зашуршали быстрее, догоняя время.

Дождь лил как из ведра, когда Ракитин вышел за ворота кладбища. Он не чувствовал воды, затекающей за воротник. Внутри него горел огонь – холодный, яростный, ненасытный. Огонь мести.

Извозчик на стоянке, увидев офицера без шинели (шинель осталась на могиле, он снял ее, чтобы не запачкать, и забыл поднять), промокшего до нитки, с побелевшим лицом и странным блеском в глазах, попятился.

– Барин, вы бы домой... Простынете...

– На Вознесенский, – коротко бросил Ракитин, садясь в пролетку. – К дому Тарасова.

– Так там же... – извозчик осекся. – Там же покойник...

– Знаю. Поехали.

Пролетка застучала по булыжной мостовой, увозя Ракитина обратно в город, обратно к людям, обратно к тайне. А сзади, под липой на краю кладбища, остался лежать его друг. И клятва, данная мертвому, тяжелым грузом легла на живые плечи.

Из записей А.П. Ракитина. 3 октября 1865 года.

«Сегодня похоронили Сергея. Стоял под дождем у могилы, слушал, как комья стучат по гробу. Думал о Кавказе. О том, как он смеялся. О том, как я не успел.

Обещал ему найти убийцу. Обещал отомстить. Не знаю, простит ли меня Господь за это обещание – христианину не пристало жаждать крови. Но знаю одно: если я не сделаю этого, я перестану быть собой. А без себя мне и жить незачем.

Фон-Лембке сказал, что убийца – кто-то из-за стола. Я ему верю. Не потому, что он внушает доверие. А потому, что он прав. Кто-то из них всыпал яд в рюмку. Кто-то смотрел, как Сережа падает, и молчал.

Я найду его. Чего бы это ни стоило.

Завтра начинаю следствие. С князя Шуйского. Он был бледен в тот вечер слишком сильно даже для проигравшего. И он должен Сереже деньги. Много денег.

Посмотрим, князь. Посмотрим, как вы будете выглядеть, когда я прижму вас к стенке.

А Фон-Лембке... С ним тоже надо быть осторожным. Он не тот, кем кажется. Но пока мы союзники. Пока.

Дождь все льет. В Петербурге всегда дождь, когда на душе скверно».*

Дождь все лил над Петербургом. Он лил, когда Ракитин возвращался в свою съемную комнату, когда Фон-Лембке в своем кабинете перебирал бумаги, когда князь Шуйский метался в бессоннице по своей роскошной гостиной. И никто из них не знал, что клятва, данная на могиле, уже начала работать. Что ниточка потянулась. Что развязка ближе, чем кажется.

Глава 4.

Прошло три дня после похорон. Три дня, в течение которых Ракитин почти не спал, обходя петербургские адреса, где мог бывать Зимовьев, расспрашивая дворников, извозчиков, лавочников. Три дня, не принеся ничего, кроме усталости и раздражения. Князь Шуйский, к которому он явился с визитом, встретил его с подчеркнутой любезностью, но от прямых вопросов ускользал, как угорь. Фон-Лембке исчез – в министерстве сказали, что коллежский советник в срочной командировке. Воронцов, отставной ротмистр, вообще куда-то запропастился.

Официальное следствие давно закрыло дело. В полиции на Ракитина смотрели косо: отставной поручик (Ракитин взял временный отпуск, формально оформив его как «по семейным обстоятельствам») совал нос не в свои дела, мешал чинам исполнять их мирные обязанности.

Нужен был другой подход. Неофициальный. Тот, о котором не напишут в рапортах и не доложат начальству.

– В трактир вам надобно, барин, – сказал старый дворник с Вознесенского, которому Ракитин сунул полтинник за сведения. – Не в тот, где чиновники сидят, да купцы жируют. А в настоящий. Где народ простой собирается. Где языки развязываются. Там вся правда на дне стакана лежит.

– Какой трактир? – спросил Ракитин.

– «Малинник» на Сенной. Только вы мундир-то смените. А то с мундиром туда либо не пустят, либо оберут до нитки, а то и прирежут где-нибудь в подворотне.

Ракитин последовал совету. В толкучке на Александровском рынке он купил поношенный армяк, картуз с промасленным козырьком, сапоги со стоптанными голенищами и поддевку, от которой разило потом и дешевым табаком. Нацепил на пояс медный свисток – для вида, будто мастеровой какой. Пистолет оставил – в такой одежде с пистолетом только грабителей пугать. Сунул за пазуху нож-финку, купленный там же, у татарина. На всякий случай.

В зеркало он старался не смотреть. Слишком непривычно, слишком чужое лицо глядело оттуда – не офицер, не дворянин, а какой-то босьяк, пропойца, может, беглый. Но для дела надо.

«Малинник» располагался в полуподвале углового дома на Сенной площади, рядом с мясными рядами. Снаружи – никакой вывески, только закопченное окно с решеткой да тяжелая дубовая дверь, обитая проржавевшим железом. Вонь от мясных лавок смешивалась с запахом дешевого курева, кислых щей и чего-то еще, сладковато-приторного – то ли махорка, то ли еще что похлеще.

Ракитин толкнул дверь и шагнул внутрь.

Гул голосов ударил в уши, как волна. Звон посуды, пьяный смех, мат, чей-то плач, надрывная гармонь в углу. Воздух был плотным, хоть ножом режь. Сизый табачный дым слоями плавал под низким потолком, смешиваясь с паром от щей и чая.

Народу было – яблоку негде упасть. За длинными, наспех сколоченными столами сидели мастеровые, мелкие торговцы, беглые солдаты, какие-то подозрительные личности в рваных армяках, женщины в полинялых платках, с потухшими глазами и ярко накрашенными губами. В углу, за отдельным столиком, четверо мрачных типов резались в три листа – по виду, мелкие воришки или карманники. У стойки, сбившись в кучку, пили чай из блюдечек извозчики, изредка перебрасываясь ленивыми фразами.

Ракитин пробрался к стойке, за которой правила бал дородная баба с красным лицом и необъятной грудью, на которой, как на полке, стояли кружки.

– Человек, – сказал он, стараясь говорить как можно проще, без офицерской выправки.

– Мне бы чайку. Покрепче.

Баба окинула его быстрым, цепким взглядом. Такие взгляды Ракитин хорошо знал по Кавказу: так смотрят местные жители на чужака, оценивая, сколько у того денег и насколько он опасен.

– Чай, – хмыкнула она. – Чай у нас для приличных. А ты, мил-человек, больно уж чистый для здешних мест. Армяк новехонький, а руки... Руки нерабочие. Кто таков?

Ракитин не растерялся.

– Издалека, – уклончиво ответил он. – В столице дела ишу. Пока не нашел. Деньги есть, пропить хочу. А с руками... – он посмотрел на свои ладони, действительно не привыкшие к мозолям. – Было дело, при конторе служил. Писцом. Теперь вот вольный.

– Писцом, – протянула баба недоверчиво. – Ну-ну. Садись вон туда, в угол. Чай принесут. И смотри у меня – не буянь. У нас тихо.

Последнее было явной неправдой. В углу как раз двое мужиков выясняли отношения, и один уже огрел другого кружкой по голове. Остальные даже не обернулись – привыкли.

Ракитин сел за столик у стены, откуда был виден весь зал. Через минуту перед ним появилась кружка мутноватого чая и кусок черного хлеба с солью. Он отхлебнул – чай был дрянной, с запахом мыла и веника, но горячий. Сейчас это было главным.

Он сидел, делая вид, что пьет, и слушал. Разговоры лились рекой, перебивая друг друга.

– ...а он мне: «Ты, говорит, не имеешь права!». А я ему: «Какое такое право, когда ты мою шапку спер?!».

– ...купчиха одна, с Выборгской, слышь, с приказчиком гуляет, а муж-то старый, ничего не видит...

– ...в участке вчера двоих забрали, за драку. Теперь в части сидят, ждут, пока очухаются...

– ...Сенька-карманник на Невском часы снял у какого-то франта. Золотые! А франт-то оказался из жандармов. Теперь Сеньку ищут по всему городу, а он у Митьки в Вяземской прячется...

Ракитин насторожился. Вяземская лавра – знаменитая трущоба, целый квартал доходных домов, принадлежащих князю Вяземскому, где ютилась самая отчаянная гольтыба Петербурга. Воры, нищие, беглые, проститутки – весь сброд столицы. Если, где и можно было найти человека, способного за деньги проследить за князем Шуйским или ротмистром Воронцовым, то именно там.

Он допил чай и подозвал половую – чумающую девчонку лет двенадцати, шмыгающую носом и таскающую кружки.

– Слышь, милая, – сказал он как можно добродушнее, протягивая ей гривенник. – А где тут у вас Митьку найти? Митьку из Вяземской.

Девчонка испуганно захлопала глазами.

– Не знаю я никакого Митьки, – пролепетала она и шмыгнула прочь, спрятав монету в кулак.

Ракитин усмехнулся. Испугалась, а монету взяла. Значит, заговорит, если подойти с умом.

Но тут к его столику подсел некто.

Это был человек лет сорока, в рваном пиджаке, с сизым носом и хитрыми, бегающими глазками. От него разило перегаром и луком.

– Слышь, земляк, – заговорил он, понижая голос. – Я слышал, ты Митьку ищешь. А зачем он тебе?

– Дело есть, – осторожно ответил Ракитин.

– Дело у всех есть, – осклабился мужик, демонстрируя шербатый рот. – Только Митька просто так не подходит. Митька – человек серьезный. У него и малина своя, и малыцы на побегушках. За ним сам Хитров рынок стоит. Ты кто такой будешь, чтобы к Митьке лезть?

Ракитин помедлил. С одной стороны, любой неверный шаг мог провалить все дело. С другой – без местных связей он никуда не продвинется. Он вынул из кармана рубль – новенький, хрустящий – и положил на стол, прикрыв ладонью.

– Я тот, у кого деньги есть, – сказал он спокойно. – И тот, кто умеет держать язык за зубами. Митьке нужны заказчики? Я заказчик. А кто меня к нему приведет, тому отдельная благодарность.

Глазки мужика загорелись алчным блеском. Он оглянулся по сторонам, наклонился ближе, дохнув перегаром прямо в лицо.

– Рубль давай вперед, – шепнул он. – И полтинник на чай. А вечером, как стемнеет, приходи к Сальному буяну. Знаешь такой кабак, на набережной?

– Найду.

– В семь часов. Спросишь там дядьку Никанора. Скажешь, от Фили. Понял? От Фили.

– От Фили, – повторил Ракитин, запоминая.

Мужик сгреб рубль, сунул в карман и исчез в толпе, будто его и не было.

Сальный буян оказался кабаком еще более низкого пошиба, чем «Малинник». Он стоял на самой Обводном канале, в полуразрушенном здании, окруженный пустырями и складами. Вода в канале была черная, маслянистая, пахла гнилью и химией. Фонари горели через один, и тьма сгущалась в подворотнях, как живая.

Ракитин вошел ровно в семь.

Внутри было почти пусто – несколько подозрительных личностей дремали за столами, уткнувшись лицами в лужи пролитого пойла. За стойкой стоял огромный мужик с лицом, испосованным шрамами, и лениво протирал кружку грязной тряпкой.

– Мне дядьку Никанора, – сказал Ракитин, подходя. – От Фили.

Мужик оглядел его с ног до головы, хмыкнул и кивнул в сторону двери в глубине зала.

– Там. Иди прямо, не сворачивай. И руки держи, где видно, а то мало ли.

Ракитин прошел в указанную дверь, оказавшуюся проходом в длинный, темный коридор. В конце коридора горел свет. Он толкнул следующую дверь и оказался в небольшой комнате, где за столом, уставленным бутылками и закуской, сидели трое.

Главный, видимо, Митька, был мужик лет тридцати, коренастый, с плоским лицом и цепкими, умными глазами. Одет он был в хороший пиджак, но без галстука, на пальце поблескивало золотое кольцо. Рядом с ним сидели двое – один худой, вертлявый, с лицом хорька, второй – огромный детина, бугай, молчаливо наливающий водку в рюмки.

– Здорово, – сказал Ракитин, останавливаясь на пороге. – Кто тут Митька будет?

– Я Митька, – лениво ответил коренастый. – А ты кто таков, что через Филю ко мне лезешь? Ты не из фараонов случайно?

– Какой я фараон, – усмехнулся Ракитин, снимая картуз. – Я человек простой. Дело есть. Плачу хорошо.

– Дело – это хорошо. Плата – еще лучше, – Митька кивнул на стул. – Садись. Выпьешь?

– Не откажусь.

Ракитин сел, принял рюмку, выпил. Водка оказалась хорошая, не паленая – Митька, видать, уважал себя.

– Слушай сюда, – начал он без предисловий. – Мне нужны люди. Мелкие, шустрые, незаметные. Пацаны, лучше всего. Чтобы следить за одним человеком и докладывать мне каждый день – куда ходит, с кем встречается, о чем говорит. Надолго – может, неделя, может, месяц. Плачу – по результату, но задаток дам сразу.

Митька слушал, не перебивая. Потом переглянулся с Хорьком.

– За кем следить-то? – спросил он. – Если за важной шишкой, то цена другая.

– Важная, но не настолько, чтобы его охраняли. Князь Шуйский. Знаешь такого?

Митька присвистнул.

– Князь-то? Дмитрий Павлович? Который в карты проигрывается да по девкам шляется? Знаю, конечно. Он у нас на Сенной иногда бывает, в долг берет у ростовщиков. Только у него денег уже почти нет, имение заложено. Чего за ним следить? Он и так скоро сам в трущобах окажется.

– Есть причины, – твердо сказал Ракитин. – Тебе знать не надо. Тебе надо пацанов найти. Митька задумался, почесал затылок.

– Пацаны – это можно. У меня есть шпана, мал мала меньше. Беспризорники, сироты, с Хитровки и с Вяземской. Шустрые, как мыши. За двугривенный кого угодно выследят, незаметно проскользнут. Только смотри: если князь узнает, что за ним следят, и на меня выйдет...

– Не выйдет. Твои пацаны язык за зубами держать умеют?

– У них вся жизнь – язык за зубами, – усмехнулся Митька. – А то по шее надают. Ладно. Давай задаток – пять рублей. И каждый день – еще по рублю, если работа будет. Идет?

– Идет.

Ракитин выложил на стол пятерку – последние крупные деньги, что у него были. Митька кивнул, и деньги исчезли в его кармане с молниеносной быстротой.

– Завтра в это же время приходи сюда. Приведу тебе пацана, с которым будешь договариваться. Сам я в такие дела не лезу, у меня своя малина. Но за порядком присмотрю. Еще вопросы есть?

– Есть. Где мне их найти, если понадобятся срочно?

– В Вяземской лавре. Спросишь Ваньку-Косого. Это главный у малолеток. Скажешь, от Митьки. Примут, как родного. Только смотри, – Митька погрозил пальцем. – Деньги вперед не суй, а то обернут. По факту плати. Они хоть и мелкие, а жулье первостатейное.

Ракитин поднялся.

– Договорились. Завтра буду.

– Будь здоров, – Митька кивнул на прощание. – И смотри, если ты все-таки фараон... – он не договорил, но Ракитин понял: в этом мире за ошибку платят жизнью.

На следующий вечер, ровно в семь, Ракитин снова был в Сальном буяне. Митька ждал его в той же комнате, а рядом с ним сидел паренек лет двенадцати – тощий, чумазый, с живыми, наглыми глазами и вечно шмыгающим носом. Одет он был в лохмотья, но держался с удивительным достоинством.

– Вот, – кивнул на него Митька. – Егорка. Лучший мой следопыт. По всему Петербургу кого хочешь найдет. Проверь сам, если сомневаешься.

Паренек окинул Ракитина оценивающим взглядом.

– Здорово, барин, – сказал он без подобострастия. – Слышь, а ты чего в армяке-то? Не похож ты на нашего. Голос не тот.

Ракитин усмехнулся. Проницательный оказался пацан.

– Не твое дело, – ответил он. – Дело делать будешь?

– А платить будешь? – парировал Егорка.

– Буду.

– Тогда давай, рассказывай, за кем следить. И сколько денег.

Ракитин присел на корточки, чтобы быть с пацаном на одном уровне. Глаза в глаза.

– Слушай внимательно. Князь Шуйский. Живет на Большой Морской, в доме Политковского. Высокий, blondin, с бакенбардами, всегда хорошо одет. Ходит в клубы, в гости, к ростовщикам. Мне нужно знать, с кем он встречается, о чем говорит, куда ходит. Особенно – не встречается ли он с отставным ротмистром Воронцовым или с каким-нибудь подозрительным типом, не из наших. И еще – не покупает ли чего странного. Яд там, например.

Егорка слушал внимательно, кивал, прищулив один глаз.

– Яд, говоришь? – переспросил он. – Это интересно. А если он с барышнями встречается, тоже докладывать?

– Тоже. Любая мелочь важна.

– Понял. А сколько дашь?

– Рубль в день. Если найдешь что-то важное – еще пятерку сверху.

Глаза у Егорки загорелись. Пятерка для такого пацана – целое состояние.

– Идет! – он сплюнул сквозь зубы, скрепляя сделку на свой манер. – Где с тобой встречаться?

– Здесь же, каждый вечер, в это же время. Если меня не будет – жди. Я приду.

– Лады. Я завтра же начну.

Митька одобрительно кивнул.

– Не подведет, – сказал он. – Егорка у меня золото. Но ты смотри, барин, если обидишь – я тебя и под землей найду. У нас свои законы.

– Я понял, – кивнул Ракитин. – Обижать не буду. Мы делом занимаемся, а не баловством.

Он вышел из кабака в сырую, промозглую тьму. На душе было странно – впервые за много дней он чувствовал, что сдвинулся с мертвой точки. Конечно, надежда на малолетнего беспризорника была призрачной. Но в этом мире, где полиция бездействовала, а чиновники лгали, только такие, как Егорка, могли пройти туда, куда не ступала нога офицера. Подслушать то, что не скажут при мундире. Увидеть то, что прячут за парадными фасадами.

– Сережа, – прошептал он, глядя в черное небо, где сквозь тучи не пробивалось ни звезды. – Я начал. Держись там. Я скоро.

И пошел в свою съемную каморку, где его ждала холодная постель и беспокойные сны о Кавказе, о друге, о рюмке с горьким запахом миндаля.

Из записей А.П. Ракитина. 6 октября 1865 года.

«Сегодня нашел соглядатая. Мальчишка лет двенадцати, Егорка, из Вяземской лавры. Шустрый, наглый, глазастый. Надеюсь, не подведет. За рубль в день он готов следить за самим чертом, не то, что за князем.

Странное чувство – вербовать шпионов среди беспризорников. Как на Кавказе, когда лазутчиков нанимал. Только там была война, а здесь – свой город, свои люди. И все равно – война. Только невидимая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.